

ЕЛЕНА КОЗЛОВА



НАД ОБРЫВОМ ПЛАКАЛА ГАРМОНЬ

РАССКАЗ

На миг приостановившись у калитки, Зина медленно открыла ее, вошла во двор. До сих пор томилась девушку вчерашняя обида на Прасковью Николаевну.

Нехорошо было вчера у Зины на душе, тоскливо, и попросила она у своей квартирной хозяйки старую гармонь, стоявшую на комод. Отец еще в детстве научил ее играть. Но Прасковья Николаевна как-то странно посмотрела на девушку и ничего не ответила. Повторять просьбу Зина постеснялась, да и обидно ей стало: старую гармошку пожалела хозяйка. Весь вечер после этого они не проронили ни слова. Даже взгляда друг на друга не бросили.

В городе Зина уже месяц — провалила экзамены в медучилище, а домой, в родное село возвращаться духу не хватило. Вот и осталась, нанялась санитаркой в больницу. И квартира нашлась сразу — больные подсказали. Живет, мол, старенькая, в одиночестве, пустит на постой непременно. Тем более такую-то помощницу.

И правда, Прасковья Николаевна приняла Зину с радостью. Даже за квартиру ничего брать с постоялицы не захотела: “Холодной зимой воду да дрова в дом занесешь, в магазин, если что, сбегашь, на том и спасибо”.

КОЗЛОВА (Ветошкина) Елена Васильевна родилась в деревне Лытаты Усть-Вымского района Коми АССР. Окончила филологический факультет Коми пединститута. Работала в школе, в детском саду, в секторе литературы и фольклора Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. Автор нескольких книг прозы, пишет в основном повести для детей. Член Союза писателей России. С 1995 года председатель правления Союза писателей Республики Коми. Живет в Сыктывкаре.

А Зине чего еще желать — мимолетом такую-то работу исполнит. Да и разговорчивая старушка оказалась, значит, скучно не будет. Одним словом, к хорошему человеку пристроилась она. Только вот вчерашнее размоленное молчание легкой царпинкой легло на душу. Непонятно, что дальше-то. Ну, да ладно, Зина на эту гармонь даже смотреть больше не будет.

Как только она вошла, в нос ей ударил с детства памятный запах хмеля. И вправду, хозяйка сидела у стола и обрывала желтоватые шишки, бросала их в корзинку. Как сладко сжалось сердечко в груди, словно перенеслась девушка в давнее время, в котором у отца тоже упруго вьется хмель, сейчас, наверно, так же там пахнет. До головокружения. Давно уже дома она не была. Хмелевым охвостом Зине однажды едва от отца не досталось. Разве забудешь? В первом классе она тогда училась, дни стояли погожие — не усидишь у порога. Ну и, ясное дело, обдирать хмелевые шишки ей совсем не хотелось. Ах, как отец замахнулся тогда гибкой этой плетью! Не хлестнул, но все же... А теперь вот таким родным на нее повеяло, будто дома рядышком с отцом сидит Зина и обрывает липкие шишки, бросает в корзинку.

— Зинук, покушай, я картошку поджарила, — ласково пригласила Прасковья Николаевна как ни в чем ни бывало. И Зина сделала вид, что и в самом деле ничего не было.

Поев, она села помогать хозяйке и вдыхала, вдыхала сладковатый, чуть пьянящий аромат.

— Вижу, знаком тебе этот фрукт, — заметила Прасковья Николаевна. — А я вот уже сорок лет с ним воюю. Раньше за ним все муж приглядывал, я только пиво два раза в год варила. А теперь вот — сама. В память о муже не бросаю. Да ведь убегает он все время.

— Как убегает?

— А вот так. Каждый год вырастает севернее. Я его уже три раза пересаживала. Выкопаю корешки — и на прежнее место. А он опять убегает.

Они замолчали, думая каждый о своем. И тут не выдержала Прасковья Николаевна, посмотрела на девушку пристально:

— Зина, ты вчера на меня, верно, обиделась? Ты, милая, не обижайся. Растерялась я. Уж больно неожиданно ты к этой гармонии-то. Ты бери ее, когда захочется, играй, если умеешь, — хозяйка тяжело вздохнула и низко наклонилась над хмелевыми плетями. — Сколько лет уже миновало со дня смерти Егора... С тех пор ведь только я к ней и прикасаюсь. Когда пыль стираю. Эх, утекает времечко, не остановишь, в кадучку не соберешь! Говорят, каков человек, такова и слава. Знаешь, Гудэк-Егором мужа моего звали, а меня — женой Гудэк-Егора, — Прасковья Николаевна повернула голову к Зине, грустная улыбка тронула губы старой женщины. — Такой же молодухой, как ты сейчас, замуж за слепого вышла. И не испугалась ведь...

— За слепого? — удивилась Зина, и сердце ее отчего-то сжалось.

— Когда пожениться, он еще видел немного, а потом совсем ослеп. В войну питание, сама знаешь, какое было.

Мы с ним соседями были. Там, через дорогу, наш дом стоял, давно уже снесли его. А здесь Егор с матерью жили. Из какого-то лесного поселка сюда переехали. Отец его на лесоповале погиб, а мать дом да корову продала — и в город. Надеялась, что городские врачи зрение сыну спасут. К тому же работа ему тут подвернулась: слепые тогда веревку сучили в артели. И гармонист он был хороший.

Помню, по весне каждый вечер выходил на крыльцо с этой вот гармонью. Сядет на верхнюю ступеньку, меха развернет и играет на всю округу. А я тайком на свое крыльцо выйду, сяду так, чтобы не видно было, и слушаю. Вот какие у нас свидания были попервости: он на своем крыльце, а я на своем. И так его гармонные переборы в душу мне западали... Эх...

Зина быстро посмотрела на Прасковью Николаевну, и снова что-то сжалось у нее в груди: морщинистое лицо хозяйки порозовело, словно внутренним светом осветилось, к губам будто улыбка просилась, обрывала она, не глядя, шишки хмеля, и летели они мимо корзины, раскатываясь по полу. Где она сейчас, Прасковья Николаевна? В молодости своей? Далеко же залетела. Вернется ли?

— Все на земле приходит в свое время, в свой срок. И любовь тоже, — продолжила Прасковья Николаевна. — Да, любовь... Однажды, лето уже к осени качнулось, и Егор, как всегда, поиграв на гармонии, не в дом вернулся, а перешел улицу. Хоть и видел плохо, но заметил свою ежевечернюю слушательницу. Встал у калитки, молчит. И словно прохладным ветерком меня всю обняло, но как-то нежно, осторожно: что уж он скажет? Бьется сердечко, предчувствует, что случится сейчас что-то удивительно красивое. Смотрю неотрывно на него, а Егор словно на самую ласковую пуговку своей гармонии нажал:

— Подойди, Паша. Или боишься меня?

Спустилась я по ступенькам, встала напротив, глаза в глаза. А глаза у него большие, темно-синие, и ноздри чуть подрагивают. Взял он мои руки в свои и говорит:

— Выходи за меня замуж, Прасковья Николаевна.

Так и назвал, по имени-отчеству. Уважительно.

А я, дуреха, хоть и ждала эти слова всем сердцем, выдернула вдруг руки свои и побежала домой. Сбежала, понимаешь, сбежала... В коридоре оглянулась в окошко: что он там делать будет после этого моего бегства? Как поступит?

А Егор только растянул меха во всю ширь да и побрел к Сысоло-реке. Отчаянно пела его гармонь. Точно прощаясь. И ушел ведь.

Ночь уже была. Тишина. А у меня в ушах, словно эхо гармонных басов, его слова звучат, лицо горит, все жилочки дрожат. В дом зайти не смею — вдруг заметят. А кто заметит-то — все спят давно.

До утра я бессонно сама с собой спорила: статный парень Егор и красивый, но ведь слепой же. Слепой! Работящий он, Егор, и не заносчивый, но ведь на десять лет меня старше. Как родителям скажешь? До следующего вечера маялась, ждала, когда гармонь снова заиграет. А она не заиграла. Понимаешь, не заиграла. Не по себе мне стало, словно опустело все вокруг без гармонии. Не выходит Егор на крыльцо, и я у окна стою, жду. Смотрю, вышел, наконец. Но не сел на свою ступеньку, не заиграл, а глянул на наше окно и опять — к реке. Как вчера.

А я себе места не нахожу. Вот как он в мое сердечко-то проник.

Перестал Егор на гармонии играть, и я как безумная стала, всей душой и телом будто у дома напротив стою, у самого крыльца. Егор же опять мимо меня к реке идет. И музыку свою с собой уносит. Даже домашние заметили мою масть.

В общем, два вечера я терпела свои мучения, а на третий пошла за ним.

* * *

Тихий темный вечер. Сысола еле слышно плещется у подножия крутого обрыва, несет свои мутноватые воды в чистую Эжву, попутно собирая живую дань с множества мелких речек, речушек и лесных ручьев, чтобы, соединившись с Северной Двиной, влиться в Белое море.

И ты, река Сысола, наверно, заметила одинокого человека, который третий вечер приходит к тебе, долго сидит над обрывом и чутко слушает твои всплески, не таит печаль свою. Взяла бы ты, Сысола, эту печаль, да и унесла с собой в далекое северное море. Но тебе нет никакого дела до одинокого человека. Торопишься, спешешь встретиться со своими сестрами и обняться с ними волнами.

Егор сидит на крутом сысольском берегу с тяжелым сердцем и осуждает, прямо-таки ругает себя: “Ишь, посватался. Дурак! Истинный дурак. А она... Красивая, молодая. Сбежала. Конечно, сбежит от такого! И как слова-то эти вырвались! Жди, выйдет она за слепого. С каждым годом все хуже ведь вижу. Скоро конец — вечная темнота. На всю жизнь. И врачи бессильны. А я свою горькую беду — да на эту хрупкую девочку! Со своего плеча — на ее плечи. Эх, мужик! Да разве можно мне о семье-то думать? Скоро без поводья и ходить-то не смогу...” Корит себя Егор, но где-то в

глубине души прячется и не хочет гаснуть крохотная искорка, которая надеется обернуться великим счастливым костром. Вперекор тягостным размышлениям Егора она просит, требует свое, мечтает превратиться в большую любовь, стремится соединиться с другой, такой же искоркой, чтобы засиять на весь мир.

* * *

— Спускаюсь я по тропке к реке, — Прасковья Николаевна уже в который раз грустно и радостно переживала далекие юные события своей жизни, — а сердце в груди так и бьется, так и трепещет. Вижу, неподвижно сидит Егор на высоком обрыве. Вздрыгнул, вскочил, шагнул мне навстречу — услышал, значит, шаги мои. Я и кинулась ему на грудь и разрыдалась в голос. И объяснить себе не могу, отчего. И доньше не знаю, чего во мне тогда больше было — жалости или любви.

Прижал он меня к себе, молча гладит по волосам, нежно, осторожно. И стало мне сразу так хорошо, спокойно.

Долго мы так стояли. Потом он расстелил на траве пиджак, усадил меня рядом с собой и развернул свою гармонию:

*На высоком холме, на березе могучей
Поет над моей головой соловей.
О ком ты, соловушка, друг ты мой лучший?
О счастье каком? О любимой твоей.*

До утра просидели мы рядышком. Ясную зорьку встретили, с солнышком поздравствовались.

А потом идем в обнимку по улице, а мама моя уже проснулась, корову на пастбище гонит. Увидела нас, остановилась. У меня сердце сжалось: что скажет? И не стала ждать слов материнских. “Мамочка, — говорю, — я за Егора замуж выхожу”. Мама ничего не сказала в ответ, удержала обидные слова, готовые с языка сорваться, только уколола взглядом мать Егора, которая как раз к калитке вышла. Так-то они, соседки, ладили...

А как зашли мы в дом, накинута на меня мама:

— Что, не нашла никого лучше? Не нашла? Такая ладная, статная, за слепого торопиться!

И сестра, ей тогда лет двенадцать было, губы выпятила, маме вторит:

— Я бы за слепого ни за что! Я только за начальника выйду...

Вот так-то... Из одного мы с ней гнездышка, а какие разные. Она и в самом деле потом за начальника замуж вышла — за начальника почты Пистиа Костю. Только и она счастья не успела испить — погиб ее муж на войне, одна сына вырастила.

Отец, слушая нас, молчал, а я на своем стояла: выйду за него, и все! Хоть что говорите, хоть что со мной делайте. Уперлась, понимаешь?

А ведь до этого слова поперек родителям не вымолвила — так боялась. Словно теленок, ни разу из хлева на свет не выходивший. И откуда что взялось в такой синичке! И вдруг отец на мою сторону встал. Ну и что, говорит, слепой, а работает не хуже других, и ветер у него в голове не свищет. Когда голова на месте, на шерсть не глядят.

— Ну и отдавай дочь за калеку! — словно по щеке хлестнула его мама.

А мне так обидно стало за Егора. Уколола ее:

— Ты сама слепая — за обличем человека не видишь...

Да, молодость... — Прасковья Николаевна вздохнула, поправила на голове платок. — Как весенний лед на реке не удержишь, так и девушку на выданье. В общем, вечером сваты пожаловали — Егорушка с матерью своей. Отец им: как сама невеста скажет, так и быть по сему. Я, конечно, сразу согласилась. И мама смирилась, хоть и расплакалась.

Расписались мы, большую, шумную свадьбу сыграли. Вся родня собралась за столом. Егор, нарядный, в белой рубашке, на гармони играл, мать

его старинные свадебные песни пела... Вот так и прижилась я в этом доме полвека тому назад. И знаешь, в добре и счастье жили мы с Егорушкой. Хоть и недолго. Жизнь прошла, как тихая река под крутым обрывом.

Прасковья Николаевна вдруг замолчала, словно спохватилась, вспомнив о работе, заторопились ее пальцы, заперевирали хмелевые шишки.

— А дальше? — Зине ужасно захотелось узнать, как все сладилось у молодых, будто чувствовала она, что разговорчивая хозяйка не рассказала ей чего-то очень важного, главного.

— А что дальше? Я устроилась санитаркой в больницу. Как ты. Придем с работы, все домашние дела быстренько сделаем и сидим, муж с женой, друг напротив друга, поем любимые песни. А что делать, если детишек Бог не дал? Не выпало нам такого счастья. Так и прожили свой век тихо-мирно, ежели б не война. Не все, говорят, веселье — под горку катиться, и в гору взбираться приходится.

Началась война, и моего Егорушку словно подменили. Ляжет навзничь на кровать, слова не проронит. Он ведь большой был, сильный. А слепой. Только свет в окне да тень человека на этом свете мог разглядеть. Я к нему и так, и эдак, отвлекаю от тяжелых мыслей. А он молчит. А тут еще сестра моя будто на раскаленную каменку холодной водой плеснула. Спустя месяц после начала войны ее мужу повестку принесли. Сестра пришла к нам, присела на скамью у окна, говорит:

— Приходите вечером — Костю проводить. — И вдруг словно черт ее за язык дернул да вывернул. — А ты, Прасковья, знала, за кого замуж выйдешь! — Я ей машу: молчи, Егор в соседней комнате, а она будто не понимает. — Люди кровь проливают, а вы, как кот и кошечка, на печи сидеть будете да мурлыкать под гармонь. И ни ребеночка, ни овечки.

Не стерпела я, говорю:

— Милая сестра, выйди-ка из нашего дома. Мы, конечно, сегодня вечером к вам придем, но не к тебе, а к Косте. Но потом не жди, нога наша через ваш порог не переступит.

С детства у нее язык был острее бритвы, но тут и я не смямлила.

Константина проводили до парохода, как полагаются. А на следующий день пришла я с работы — Егора нигде нет. Кричу — не отзывается. Соседи сказали: к реке твой пошел. Похолодело в сердце моем — так я испугалась. Уж не топиться ли вздумал, ведь так испереживался, сам не свой ходит.

Полетела на берег — нет его. А выше по течению, в речной излучине, пароход у пристани стоит и на берегу народ толпится — на фронт отцов и сыновей провожают. Подошла, глазами шарю, мужа высматриваю. Может, думаю, где-то в толпе. И увидела, наконец. Стоит мой Егор над обрывом и на гармони играет, “Русскую” наяривает. И несколько новобранцев рядом с ним пляшут неистово. Едва удержали меня ослабевшие ноги: жив!

Подошла к нему, встала сзади, слушаю, смотрю кругом. За месяц проводов трава вся выбита сапогами до проплешин, пожелтела. Топчутся новобранцы, родня их, детишки в ногах путаются. Кого старая мать провожает, кого невеста. Люди все из дальних деревень. У кого родственников нет, жмутся к гармони. Тогда ведь, знаешь, железной дороги здесь не было — на пароходе до Котласа плыть приходилось.

Егорушка “Шоцбан” сыграл, “Мича нывъяс”. Душевно у него получалось, ласково и певуче, никогда я больше не слышала, чтобы так кто-нибудь еще играл. А когда гуднул пароход и все прощаться стали, каждый подошел к Егору, руку ему пожал: спасибо, земляк, повеселил напоследок, может, не придется уже на родной Коми земле сплясать.

А Егор говорит каждому:

— Неправда это, неправда! Вот прогоните проклятых фашистов, снова здесь, у пристани, встретимся.

И лицо у него будто застыло, закаменело, когда он “Священную войну” заиграл. Верно, по радио услышал песню эту страшную, подобрал на гармони своей. Ты знаешь, крики, плач по всему берегу, а тут призамолкли все, притихли, такая это была песня. Гудит, отваливая от пристани, пароход,

а Егор все играет и играет. Грустной стала гармонь, кажется, вот-вот заплачет, да уже и плачет действительно, потому что знает: не все сыновья Коми земли вернутся обратно.

Каждый день начал ходить Егор на берег Сысолы, провожать пароходы. Вымотается на работе на военных нормах и все равно идет с гармонью на пристань. А я не отговариваю, пусть провожает людей в трудный путь. Может, и его душа умиротворится. На войну его так и так не возьмут. А тут будто при службе он.

* * *

Сегодня у Егора торжество, именины, праздник. Он шагает по знакомой улице после трудного рабочего дня, палкой перед собой постукивает — не изменилось ли чего с утра. И нипочем ему дождь со снегом, который сечет его по счастливо улыбающемуся лицу и пытается сбить с привычной походки. Всем телом, всем существом своим ощущает он себя человеком. Да-да, человеком, а не инвалидом.

До войны Егор как-то особо не задумывался об этом. Жил, как все, работал. А вот пришла война, и мерзкой букашкой засвербила в душе тоска — он ненужный человек. Именно, ненужный. Немного отпустила тоска эта, когда пароходы провожал, но и тогда не чувствовал он себя необходимым. Стыдно было пожимать руки уходившим на войну. Ни в чем не виноват, а стыдно. Они вон — и безусые, и немолодые уже, пожившие — идут и идут, а он — только провожающий с гармонью. Мог бы, тоже не задержался бы, и провожали бы его другие.

И лишь сегодня истлела в груди тоска.

Месяц назад начали в их артели шить и вязать рукавицы для снайперов. Это такие, у которых большой и указательный пальцы отдельно, чтобы стрелять было сподручно. Егор рассчитывал, что его цеху тоже поручат эту работу, но их оставили сучить веревки.

Прошло недели две, и Егор подошел к бригадиру:

— Пал Петрович, я тоже хочу шить снайперские. Они же сейчас на фронте нужнее веревки.

— Слушай, Егор, ты думаешь, это так просто? — с ходу осадил его бригадир. — Тебе два месяца придется учиться. А у нас времени на это нет. На рукавицы бросили тех, кто уже раньше их шил. А ты свою работу делай по мере сил и возможностей. Она тоже нужная.

— Знаю, что нужная, — заупрямился Егор. — Но я хочу шить рукавицы.

Павел Петрович удивленно посмотрел на возбужденного Егора. Таким он своего подчиненного еще не видел.

— Слушай, дорогой мой, я все понимаю, но... — бригадир заколебался и вдруг согласился. — А... Давай. Хочешь шить — учись. Но только после работы. Норму выполнишь — и я не возражаю. Но норму выполнять — обязательно. Время военное.

И замелькали трудные для Егора дни. Накрутив веревочную норму, он спешил в швейный цех и допоздна упрямо приучал руки к новой работе. Долго не получалось у него ничего. Не зря ведь говорится, что первое полотно непременно с узлами, а первый выстрел — черная ворона. И вот, наконец, сегодня Егор сдал на склад готовой продукции хорошо сшитую пару настоящих снайперских рукавиц. Завтра его изделие отправят на фронт, и лучший во всей Красной армии снайпер, не снимая на морозе рукавиц, нажмет на спусковой крючок меткой винтовки. И пусть дождь со снегом хлещет в лицо. Пусть. У Егора праздник.

Вернувшись домой, Егор не сразу заметил печальное молчание жены. Улыбнулась, конечно, похвалила за успехи, но сдержанно как-то.

— Ты чего, Паша? — уловил ее настроение Егор.

— Сестра приходила, — осторожно проговорила Прасковья.

— Ну...

— Сынок у нее совсем ослаб. Ты же знаешь, застудился он. Никак не поправится. Ничего, говорит, не ест, да особо-то и есть нечего.

И тут же погас для Егора праздник. Война проклятая. Какие уж тут праздники? Его маленькая победа рядом с горем, которое пировало повсюду, принося болезни детям и похоронки соседям, показала ему ничтожной капелькой в людском море. Егор прошел в горницу, вытащил из сундука новый черный костюм, который они успели справиться до войны и который он любил надевать, когда играл на гармонии, достал голубую с полосками шелковую рубаху, вынес Прасковье.

— На вот это, да еще кой-чего подсобери... Походи в выходной по окрестным селам. Может, удастся выменять на сало и картошку. Надо мальчонку на ноги ставить.

Прасковья молча взяла вещи, и так ей легко стало на душе. Значит, не держит он зла на ее сестру.

* * *

— А к концу войны Егор и сам занемог. День и ночь кашлял, кровью сплевывать начал. Он ведь у меня крупный, рослый был мужик, на карточки не наедался. — Прасковья Николаевна замолчала, словно застыла вся, а потом, вздохнула, продолжила. — Я вон тут, в парке, раскопала большой участок под картошку. Тогда весь парк в грядках был. Воровали, конечно, подкапывали. Но ничего... И копала, и окучивала, и полола. На мне весь огород был. Прибегу из больницы, уработаюсь — а дома тоже работы невпророт. Когда картошку копали — мне самая трудная должность доставалась. При лопате. Сила-то у Егора была, да что толку: не видит, где копать надо. Он на ощупь картошку собирал, понимаешь. А я прямо с ног валилась в такие дни.

Помню, вернулась в дом с грядки и едва до кровати добралась, прилегла. Не смогла даже ужин мужу приготовить. Лежу, словно в забытьи впала. Глаза открываю, а Егорушка сидит рядом со мной, взял своими огромными ручищами мои руки, красные, в гусиной коже от постоянной работы в воде и на холоде, шершавые, с потрескавшимися ладонями, и дует — греет. Так-то он не очень ласковый был, а тут нагнулся и каждый палец поцеловал. Вся кровь у меня к лицу прихлынула. Вот, думаю, какой он, оказывается: руки целует, а руки-то все в трещинках, загрубевшие от работы в некрасивые. И вдруг точно обожгло меня: он же не видит, какие у меня руки. Дурочкой была, не понимала, что ему и не нужно было их видеть.

Пришла весна, а с нею и Победа. Как радовались все! А Егорушке работы прибавилось. Стал опять с гармонью на пристань ходить, но уже не провозжать пароходы — встречать. Каждый день ходил, будто братья и сестры с фронта возвращались. Вечером, часам к девяти, пароходы прибывали, гудками всю округу на ноги поднимали. Егор надевал чистую рубаху — и к реке. До самой осени ходил на берег. Я отговаривала его:

— Хватит уже, простынешь совсем. Вот-вот снег пойдет.

А он спокойно так:

— До закрытия навигации поиграю.

Иногда пароходы опаздывали, так он садился к порогу, ждал, иной раз даже соснет на минутку. По гудкам узнавал пароходы-то. Вот “Бородино”, а это “Некрасов”... До пристани от нас — два шага через парк.

Мерз он, конечно, там, на осеннем ветру, совсем расхворался, а еще следующей весной сильно простудился. С тех пор кашлять не переставал, кровью харкал. К осени лицо потемнело, знаешь, как репа пареная, похудел весь — только нос торчит.

— Егорушка, — говорю ему, — сходил бы ты к врачу.

— Сходим, сходим, — отвечает, — сейчас только последний пароход встречу... А то уложат в больницу, где гармониста найдут.

Этот последний в воскресенье пришел. Ночью уже сильно подморозило, утро выдалось солнечным. Но к вечеру небо тучами затянуло, дождь накра-

пивать начал. Егора бил озноб, целый день у печки в фуфайке просидел, а вечером снова засобирался на пристань.

— Егорушка, не ходи. Болеешь ведь.

— Что уж, Паша, последний ведь пароход. Надо встретить обязательно.

— Тогда и я с тобой.

Ветер нес по берегу дождь со снегом, пассажиры выходили из сияющего огнями парохода в неласковую осеннюю темень. А Егор, спрятавшись от дождя под соснами, стоит на взгорке около пристани, играет “Синий платочек”. Первые пассажиры уже разошлись, а после всех по трапу спустился солдат на костылях: правой ноги у него нет, шинель не застегнута, на груди ордена и медали звенят. Поднялся на голос гармонии, встал перед Егором, сидор с плеча стянул и говорит:

— Ну, здорово, друг! Живой?! Дай пожму тебе руку! Большое тебе спасибо, друг! И за игру спасибо! Ты не помнишь, конечно, а ведь под твою гармонию уходил я на фронт, под нее и вернулся. Вернулся! Если б не гармонь эта... Эх! Я ведь закрою глаза в землянке, начну края родные вспоминать и тебя вспоминаю. Берег сысольский, эти березы, тополя... и ты на гармони играешь. “Священную войну”. А потом, в госпитале сколько раз чуть не плакал, губы кусал: кому я нужен такой? Я ведь охотником был не последним, а как теперь по лесу-то? Без ноги не побегаешь. И опять перед глазами ты со своей гармонью, будто зовешь домой. Да, зовешь... Глядишь, и терпеть можно жизнь такую. Так что спасибо, солдатское спасибо тебе и поклон до земли!

Егор отдал мне гармонию, протянул руку солдату, хлопает его по плечу, а я смотрю на него и не узнаю. В отвсетах пароходных огней исхудавшее лицо, плотно сжатые губы, часто моргающие веки — не поймешь, слезы текут по щекам или холодные капли дождя...

Зимой умер Егор. Видать, слишком поздно к врачам мы пошли.

После похорон будто солнце мое погасло. Как выдержало сердце, не разорвалось от горя. Так и жила, словно в сумерках. Работа, конечно, не давала забыться, отвлекала от беды моей. Но, хоть и прошло уже с той поры сорок с лишним лет, а плач и радость этой вот гармонии стоит в ушах донныне. Никто ведь после Егорушки не играл на ней...

Прасковья Николаевна умолкла. И Зина не посмела нарушить ее молчание, ей показалось, что она только что вернулась из дальней дали, из другого времени, где своими глазами видела слепого гармониста и его молодую жену, которые стали ей отчего-то такими близкими, такими родными. И будто слышала Зина печальную гармонию, плачущую по солдатам, погибшим на войне... А хозяйка вдруг запела:

*У ручья, у быстрого ручья
Спеть заре хотела песню я,
Но сорвался звонкий голос мой,
Радость мхом позаросла зимой.
Ручеек, чтобы заглох в ночах,
Перекрыли — ручеек зачах.
Так что ты, кукушка, мне не ври —
Друг мой превратился в луч зари...*

Перевел с коми Александр Суворов